



НАЧАЛО ПУТИ

Много раз уговаривались мы о беседе, в которой он рассказал бы мне творческую свою историю. Но всякий раз для встречи оказывался другой повод (в то время я переводил последнюю книгу его лирики, «Итог», и виделась мы часто), а давно назначенная беседа все откладывалась. Однажды утром он позвонил: «Приезжай — поговорим...»

Он сидел на снамейке у себя в саду; был конец марта или начало апреля. Воздух почти пьянил, легкий и терпкий, как сухое вино. Эта нежная ташкентская весна шестьдесят шестого никак не предвещала беды (Гафуру Гуляму оставалось жить чуть больше трех месяцев). И все-таки было в нем в то утро что-то необычное, словно человек решил подвести итог. Таким настроением проникнуты иные стихи его последней книги, но в нем самом я никогда прежде ничего похожего не чувствовал. Наверное, настоящий поэт переживает какие-то пророческие моменты; он говорил, говорил, со свойственным ему эмоциональным напором, а я с опаской поглядывал на блокнот: похоже было, что чистых страниц не хватит...

Сейчас, когда ему исполнилось бы семьдесят лет, я снова перелистал блокнот. Вот несколько страниц из этих записей. Они — о начале его пути.

А. НАУМОВ.

Я думаю, вы согласитесь со мною: хотя стихи и являются на свет по-разному, главный импульс лирики — непосредственное живое впечатление, тот одновременный и в чем-то неожиданный толчок, который получает «душа поэта». Творческий в стихи, он и в читателе должен произвести такое же воздействие... Воздействие **единовременное**, в том смысле, что весь заряд выпускается здесь сразу, тогда как повествование — это для читателя всегда сумма впечатлений. Ибо всякий рассказ и от автора требует такой, большей или меньшей, суммы впечатлений, некоего заранее накопленного багажа. Проза — продукт памяти... Да, да, и воображения, конечно, но ведь воображение чаще всего лишь перетасовывает то, что память ему уже заранее накопила.

Только работая над стихами, я прорывался, после каких-то начальных усилий, в ту область легкости и простоты, когда нужное слово — и в нужный момент! — как бы само идет к тебе, само становится на место в строку, которым ты командуешь. А проза всегда была для меня трудна — хотя и страстно привлекала. И все-таки я ее — назло собственному характеру — писал, и писал всю жизнь.

Лет тринадцати, должно быть, сочинил я первые свои вирши — тогда был еще жив мой отец, страстный любитель поэзии, который и сам пробовал импровизировать стихи под аккомпанемент дутара и водил знакомство с некоторыми прославленными поэтами. Я учился, потом работал, потом и сам учил — в одной из первых у нас советских школ — и продолжал писать...

Я окупнулся в журналистику. Она требовала оперативных жанров. Много ездил. Уроженец Ташкента, я в ту пору познакомился со всей республикой. Стремительный ритм, в котором я жил, лишь повторял темпы общего наступления. Мы шли походом на пустынные

земли и старый быт, на неграмотность и неурожаи. Энтузиазм встречал и яростное сопротивление: пьянящие успехи соседствовали с кровавыми драмами.

Я наблюдал, вспоминал — и читал; читал много, упоенно, страстно. Тогда, в конце двадцатых, я уже достаточно знал русский, чтобы буквально «проглатывать» русские книги. Там, среди романов и рассказов, очерков и стихов, оказался Маяковский, самое сильное литературное впечатление, важнейший поэтический урок моей молодости.

Обыденная разговорная речь, с ее сегодняшними жаргонными, еще не обкатанными литературой словечками — и ораторский пафос лозунгов; недвусмысленная газетная простота — и словно поднятые своим творительным падежом на дыбы, едва укрошенные ритмом метафоры; патетика архаизмов — и веселая дерзость заново сконструированных слов... Все это образovalo единый сплав, органичный и столь необходимый эпохе.

Вдохновленный высокой дерзостью этой поэзии, я и сам дерзнул: стал переводить ее на узбекский. То была невыразимо трудная и на редкость благодарная работа. В пылу и поту того труда я постиг главный урок Маяковского. Он сумел слиться в поэзии вчера и сегодня. Да, да, свой дерзкий и великий эксперимент он творил, усвоив гениальной интуицией вековой поэтический опыт литературы и народа. Он сделал как раз то, в чем все мы, и я в частности, в своих молодых метаниях так остро нуждались: **переплавил** старые формы для нового содержания. Перевод Маяковского подготовил новый мой поворот к стихам — я имею в виду свое стихотворение «Турксиб».

Я ездил на строительство Турксиба дважды, написал два очерка о поездках, и тема казалась мне «отработанной». Но какое-то время спустя воспоминание о стройке снова зацепило меня. Было это, помню, вечером, я только что проводил товарища — он в свою очередь отправлялся в такую поездку; я был взбудоражен прощанием и собственными рассказами о Турксибе.

Бредя с вокзала по темному тоннелю мостовых, перекрытых тяжелыми сводами листвы, я почувал приближение стремительной и мощной волны слов. Она родилась, наверное, где-то далеко и лишь теперь докатывалась до меня, с грозным и радостным нарастающим гулом. Я еще не понимал, что это за волна, и, охваченный жадным ожиданием, чуточку ее побаивался, но отчетливо помню место, где она меня настигла, — посредине узкой темной улочки с единственным освещенным окном, перечеркнутым вторгшейся с улицы веткой, а за нею, в глубине комнаты, виднелся под хрустальной люстрой пустой стол...

И волна слов ударила в меня. Они налетали, повторяясь или вторя друг другу, в каком-то явном, но не сразу уловимом ритме, и я вдруг понял: да это стихи! Стихи... но каких я еще не писал никогда. Они повторяли уже не тот, привычный шаг знакомых размеров, неизбежную память чужих строк, а неровные порывы ветра, топот толп, хлопанье полотнищ, мерный или сбивающийся перестук копыт, резкую дробь барабана. Я отдался этому ритму; я легко заполнял его словами — образы проходили перед моим взором. Я чувствовал только, что эти складывающиеся куски непременно надо остановить (они все летели и повторялись у меня в мозгу) — надо их остановить, не то волна пролетит и останется одна пена. Бумаги как назло со мной не было, только газета в кармане, и я стал огрызком карандаша записывать на узеньких полях, потом прямо по печатному тексту, лишь бы вытолкнуть из головы одни строфы и дать место другим...

Проснувшись утром, я мгновение раздумывал, что же наполняет меня чувством счастливой утвержденности на земле, и вспомнил: стихи!.. Они лежали, кое-как переписанные, на столе, я вскочил и стал читать. Ночь не обманула: все было, чем казалось. Налетевший вал унес жалкие искусственные насыпи — и обнажил скальную породу...

Как-то само собою получилось, что я несколько отошел от журналистики. Я ждал стихов: так, должно быть, ждут ребенка. И они рождались: вскоре после «Турксиба» я написал «Знаменосцев» и еще несколько стихотворений. Во всех этих лирических вещах таилось нечто от эпики, хотя они отнюдь не были поэмами в собственном смысле — ни по строю, ни по размерам. Но то были **сгустки** впечатлений, за каждой строкой крылся эпизод — эпос моего опыта стоял за ними, в молчаливом и сдержанном отдалении.